

ЕВГЕНИЙ ДОЛЛМАН

ПЕРЕВОДЧИК ГИТЛЕРА.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СРЕДИ

ЛИДЕРОВ НАЦИЗМА.

1934-1944

Евгений Доллман

**Переводчик Гитлера. Десять лет
среди лидеров нацизма. 1934-1944**

«Центрполиграф»

Доллман Е.

Переводчик Гитлера. Десять лет среди лидеров нацизма. 1934-1944
/ Е. Доллман — «Центрполиграф»,

В книге Евгения Доллмана рассказывается о повседневной жизни лидеров нацизма, о политических интригах и закулисных сплетнях. В повествовании встречаются и пикантные подробности, и курьезные случаи, такие как, например, поиски Гиммлером легендарного сокровища короля Алариха на дне реки Бусенто и конфликт Гитлера и Муссолини в самолете. Автор искусно владеет пером, а юмор, свежий взгляд на известные факты и здравый смысл делают его мемуары еще более интересным чтением.

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	25
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Евгений Доллман
Переводчик Гитлера. Десять лет
среди лидеров нацизма. 1934 – 1944

Моей матери

Глава 1

Его Величество

В приемной императорской виллы нас встретил старый господин, к которому моя мать обращалась «мой дорогой граф». Он галантно поцеловал ей руку, не обратив никакого внимания на меня – возможно, потому, что просто не заметил. Я же во все глаза глядел на стоявшие у стены стеклянные ящики, заполненные чучелами птиц самых разных видов.

– Это – птицы бедного Рудольфа, – заметил старый кавалер, повернувшись к моей матери, которая позже объяснила мне, что всех этих птиц убил наследный принц Рудольф и велел сделать из них чучела, когда был еще совсем молодым.

В сопровождении графа мы поднялись по лестнице и прошли через несколько приемных залов. Один из них был отделан в серых тонах, другой – в красных, и все они – как шепотом сообщила мне мать – использовались для различных целей императрицей Елизаветой. Нам даже было позволено одним глазком взглянуть на кабинет, когда-то принадлежавший этой несчастной виттельсбахской принцессе. Стены его от пола до потолка были увешаны изображениями любимых лошадей императрицы. Но меня больше всего поразила картина с изображением пышно разодетого зуава, который когда-то, по словам графа, был самым любимым смотрителем гончих этой капризнейшей из европейских принцесс.

Покинув этот конский музей, где вперемешку висели изображения приятных и ужасных на вид животных, мы прошли через анфиладу комнат для ожидания, в одной из которых сопровождающий нас покинул. Моя мать, явно нервничая, принялась оправлять свое платье и мой «эрцгерцогский костюмчик», как вдруг ближайшая к нам дверь отворилась, и граф пригласил нас войти.

Я увидел в углу большой письменный стол, перед которым стоял очень старый господин, чье изображение я видел очень часто. Его императорское и королевское величество Франц-Иосиф I, владыка Австро-Венгерской империи, легкой походкой подошел к моей матери, которая склонилась в нижайшем реверансе, и, взяв ее за руку, отвел в другой конец комнаты, где стояли старомодный диван и несколько кресел. Неподражаемым жестом он пригласил ее сесть, оставив меня стоять у входа. Я очень надеялся, что он, как и его генерал-адъютант, не обратит на меня никакого внимания.

Потом, когда мы покинули виллу, мать рассказала мне, что это был знаменитый Императорский уголок, где однажды собрались на историческую конференцию государи России, Германии и Австрии.

Я вежливо стоял у двери, и до меня доносился только низкий гул разговора, происшедшего в означенном углу. Чем дольше я глядел на старика, тем сильнее он напоминал мне Бога, и я чувствовал, что не осмелился бы подойти к нему и заговорить, как не осмелился бы обратиться ко Всевышнему. Он был так же далек от меня, как и Бог, плывущий на пурпурном облаке, и мне казалось, что он в любой момент мог подняться на небеса.

Я не знаю, о чем моя мать говорила с императором. Помню только, как государь сказал, что он рад, что императрица «избавлена от всего этого». Вероятно, он имел в виду убийство в Сараеве и нависшую над нами угрозу войны, но вполне возможно, что он говорил о чем-нибудь другом, – не знаю.

Неожиданно Всемогущий Бог спросил:

– Так это он и есть, не так ли? – Он приподнял руку и жестом подозвал меня к себе. – Как тебя зовут?

– Евгений, ваше величество, – запинаясь, произнес я, вспомнив наставления матери.

– Ну что ж, Евгений, – прозвучал голос в моих ушах, – надеюсь, ты станешь таким же прекрасным человеком, как Евгений Савойский, когда вырастешь. Он преданно служил моему дому.

Благодаря своему имени я кое-что знал о Евгении Савойском. Но я не знал тогда, что, если бы он не был столь преданным слугой Габсбургов, стул, стоявший напротив меня, вероятно, был бы занят теперь турецким султаном или потомком одного из злейших врагов эрцгерцогского дома времен Евгения Савойского.

– Когда ты родился? – был следующий вопрос.

Я увидел, что мать кусает губы, но мне было велено говорить смело, и я сказал:

– 21 августа 1900 года, ваше величество.

И тут я испугался. Всемогущий Бог провел по глазам рукой. Он повернулся к моей матери:

– Да-да... 21 августа – как и бедный Рудольф.

Я не понял, о чем это он, но император уже отвернулся от меня.

Дрожащей старческой рукой он выдвинул ящик стола и медленно вытащил портрет очень красивой женщины, которую я сразу же узнал. На ее шею падали крупные завитки золотисто-каштановых волос, а на лице застыло выражение легкой грусти. Бесподобную грудь женщины пересекала бледно-голубая орденская лента. Это была копия известного портрета молодой Елизаветы Австрийской, выполненная мастерской рукой Франца Шлоцбека.

– Как прекрасна была императрица, – еле слышно прошептал Франц-Иосиф. – Вы уже уходите, баронесса?

Он неизменно называл мою мать баронессой, поскольку много десятилетий назад сделал ее дедушку бароном и членом Тайного совета. Она кивнула со слезами на глазах, и наша аудиенция закончилась. Мать склонилась в реверансе, и старый император галантно проводил ее до двери, где нас снова ждал граф. Потом я услышал тихий голос последнего великого императора Европы:

– До свидания, баронесса, – до следующего года, наверное. Хорошо, что вы посетили меня. Я вам очень благодарен.

Граф проводил нас мимо оленьих рогов и лошадиных голов и через анфиладу приемных комнат императорской виллы вывел к боковому входу. Очень скоро мы поняли, почему он это сделал.

Приблизившись к большому фонтану, расположенному перед крыльцом с колоннадой, мы увидели, что площадь перед домом кишит народом – здесь были крестьяне и горожане, лесники, солдаты и бесчисленные дети с кипами альпийских роз и букетиками эдельвейсов в руках. Они стояли, притихшие и молчаливые, и ждали, когда откроется дверь на балконе и появится старый император, похожий на бога, сошедшего с Олимпа.

В эту самую минуту до наших ушей донеслись сначала тихо, а потом все громче и громче слова старого императорского гимна, написанного Гайдном: «Gott erhalte...»¹

Мы увидели, как Франц-Иосиф поднес руку к фуражке, отдавая честь. Вскоре после этого он возвратился в Вену, чтобы никогда уже больше не увидеть своего любимого Ишля, своих оленей и серн. Это было 10 июля 1914 года, когда Европа стояла на пороге Первой мировой войны.

Аудиенция на императорской вилле в Ишле стала моим самым ярким воспоминанием о старой Европе, последним великим монархом которой был Франц-Иосиф. Никогда его не забуду, и, хотя я встречал на своем пути многих самозванных государей, он один является для меня воплощением королевского величия.

¹ «Боже, храни...» (нем.) (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.)

Моя мать жила в своем родном Мюнхене, погружившись в воспоминания об эре Габсбургов-Виттельсбахов. Она продолжала давать вечеринки с чаем, на которых играли в тарот, этот бридж современного бомонда. Франца-Иосифа и его генерал-адъютанта – увы! – больше не было, но баварские министры и генералы с радостью заняли их места.

Что касается меня, то я посвятил всего себя университетской жизни и с головой погрузился в учебу.

Годы 1920–1926 стали для меня незабываемыми. Что за университет, что за преподаватели! Когда я вспоминаю их имена – историков Маркса и Онкена, историков искусства Вёлфлина и Пиндера, а также Фосслера и Штриха, посвятивших себя изучению литературы, – у меня создается впечатление, что Мюнхен переживал времена самого настоящего возрождения гуманистической мысли, которое, к сожалению, оказалось последним. Это было время, когда студенты не занимались еще политикой, а преподаватели имели время и свободные аудитории для индивидуальных занятий – более того, перед зданием университета не устраивались моторизованные парады. Учителя, знаменитые и незнаменитые, видные и простые, уделяли нам много времени. Они использовали его не только для того, чтобы хорошенько изучить молодого человека, который надеялся написать диплом под их руководством, но и оценить его человеческие и интеллектуальные качества. Позже все немецкие университеты, и Мюнхенский университет Людвига Максимилиана в частности, превратились в политические учебные заведения нацистов или в центры воспитания технократов.

Вёлфлин, швейцарец по происхождению, отличавшийся истинно швейцарским спокойствием и уравновешенностью, свел меня со своим другом и единомышленником Рикардо Хухом. Их разговоры о политических и артистических проблемах времен Тридцатилетней войны доставили мне много часов неподдельного наслаждения. В доме руководителя моего дипломного проекта Онкена, старого национал-либерала, маленькая французская бородка которого делала его похожим на потомка Наполеона III, я встречался с последними представителями немецкого либерализма. В их разговорах живо представала передо мной история конституционализма, а также идея о превосходстве внешней политики.

Незадолго до Рождества 1926 года я защитил диплом, написанный под руководством Онкена и посвященный императорской политике во второй половине XVI века, и получил, к своему величайшему удивлению, диплом с отличием. Благодаря Онкenu, этому выдающемуся человеку, который был моим руководителем и покровителем, я приобрел способность рассуждать логически и критически.

Однако самые яркие воспоминания о студенческих днях в Мюнхене оставили у меня не Онкен, Вёлфлин и Штрих, несмотря на то что я получил от них знания по истории, искусству и литературе. Этот период моей жизни окрашен памятью о выдающемся ученом, изучавшем литературу эпохи романтизма, Фосслере. Именно ему и его лекциям, посвященным великой французской литературе XIX века, я обязан знакомством с произведениями двух писателей, с которыми не расставался всю жизнь. Один из них, Стендаль, стал моим постоянным спутником в Италии. Я изучал Парму, находясь под сильным влиянием его «Пармской обители», хотя мне так и не удалось, несмотря на все старания, отыскать Торре-Фарнезе.

Другой писатель, Бальзак, стал моим учителем жизни. Как историк, я занимался римскими императорами и Гогенштауфенами и сделал политику римских пап XVI века предметом специального исследования. Благодаря моей матери я сохранил неистребимое уважение к странному и замечательным фигурам дома Габсбургов. Однако мир великих исторических персонажей не мог снабдить меня таким знанием жизни, а также знанием о человеческом сердце и всех его проявлениях, как бессмертная «Человеческая комедия» Бальзака. Фосслер предсказывал – и очень надеялся, – что все его студенты когда-нибудь испытают те чувства, которые испытал барон Растиньяк после похорон несчастного отца Горио. Я никогда не забуду, как он цитировал наизусть отрывки из этого эпизода: «Итак, оставшись один, Растиньяк поднялся на

самое высокое место кладбища и увидел Париж, расстилавшийся перед ним по обоим берегам петляющей Сены. То тут, то там начинали уже мигать огоньки. Он не отрывал жадных глаз от пространства, лежавшего между колонной на Вандомской площади и куполом Дома инвалидов – здесь был расположен блестящий мир, который он надеялся завоевать. Он смотрел на этот гудящий улей взглядом, который предвещал его разграбление, словно уже ощутил на своих губах сладость его меда, и произнес с нескрываемым вызовом: «Я завоюю тебя!»

Я вспомнил об этой сцене, приехав в Рим и поднявшись на Монте-Пинчио. Я смотрел на облака в сгущавшихся сумерках, но не смог повторить воинственного возгласа месье де Растиньяка. До нынешнего дня я не знаю, как назвать ту горько-сладкую любовь к Риму, которая принесла мне столько радости и горя. Кроме того, во мне слишком много от антагониста Растиньяка, Люсьена де Рюбампре, чтобы храбро бросаться в бой. Я предпочитаю, чтобы подобные решения принимали другие; потому я стал всего лишь Растиньяком в одежде Рюбампре или наоборот.

Но, как бы то ни было, Онкен, мой руководитель, посчитал, что я достоин гранта Общества кайзера Вильгельма для продолжения обучения. Тема моего исследования «История кардинала Александра Фарнезе и его семьи» (это был один из самых знаменитых и интересных итальянских родов в XVI и XVII веках) была весьма амбициозной. Меня до сих пор удивляет, как такой холодный и рационально мыслящий ученый, как Онкен, дал свое согласие на работу по этой теме, но он это сделал. И, вооружившись толстой пачкой рекомендательных писем, я отправился на юг.

Это было весной 1927 года – я ехал в Аркадию.

Глава 2

Аркадия

Александр Фарнезе, или Великий кардинал, как называли его современники, давно уже интересовал меня. Впервые я прочитал о нем в подробной, но сухой, словно пыль, «Истории пап» Людвиг фон Пастора. Этот австрийский ученый, который, благодаря своей тесной связи с папой Пием XI, получил пост австрийского посла при Святом престоле, утверждал, что Фарнезе заслуживает того, чтобы о нем была написана книга. Поскольку кардинал жил в моем любимом XVI веке и поскольку мне требовалась историческая жертва, которая открыла бы мне путь на юг, я остановился на нем.

Его жизнь была и сейчас остается предметом, достойным описания, но ему, к счастью, удалось избежать моего внимания к своей особе. В 1945 году агенты разведки союзников в Риме обнаружили чемодан, полный документов, свидетельств, записей и фотографий, связанных с кардиналом Фарнезе. Полагая, вероятно, что кардинал был моим «осведомителем» в Ватикане, они забрали все эти материалы. Я не имею никакого понятия, где теперь находится этот чемодан, что, впрочем, совсем не удивительно, – секретная служба есть секретная служба. Тем не менее могу с чистой совестью рекомендовать Александра Фарнезе молодому поколению. Любой человек, будь то историк искусства, литературы или просто историк, может написать о нем интересный труд.

Александр Фарнезе был старшим внуком папы Павла III, взошедшего на престол в 1534 году в возрасте шестидесяти семи лет и занимавшего его до 1549 года. Весь Рим плакал, когда в 1589 году Фарнезе умер, и даже папа Сикст V, грубый и мрачный человек, не питавший к нему особой любви, говорят, уронил несколько слезинок. Фарнезе умер кардиналом, хотя на семи папских выборах подряд был кандидатом на роль папы. Он оставил после себя замечательные произведения искусства, дворцы, виллы и коллекции самых разнообразных предметов. Самым прекрасным владением кардинала, сооруженным для него Виньолой, была его летняя резиденция в Капрароле, недалеко от Витербо, которая знаменита своими многочисленными залами и комнатами, украшенными фресками, а также фонтанами и кариатидами, садами и лужайками. Несколько портретов Фарнезе были созданы самим Тицианом.

Таков был человек, которому я и намеревался посвятить несколько лет своей жизни в Италии. Эти несколько лет растянулись на два десятилетия, но книга моя так и осталась ненаписанной, однако было бы несправедливым обвинять в этом одни только секретные службы союзников. Я был виноват не меньше их. К сожалению, я позволил втянуть себя в события нашего собственного времени и забыть о прошлом.

Не знаю, сколько рекомендательных писем брал с собой Гёте, отправляясь в путешествие по Италии. Лично я имел целую кучу писем, адресованных руководителям немецких академических институтов, кардиналам и монсеньорам, профессорам, писателям и ученым. У меня было также несколько личных посланий. Они были извлечены из совсем не академических, но весьма обширных архивов моей матери и оказались не менее полезными, чем официальными. Генерал фон Лоссов дал мне записку для Бадольо, а Конрад фон Пречер, баварский посол в Берлине (анахронизм, еще существовавший в то время), снабдил несколькими визитными карточками для вручения сотрудникам двух немецких посольств.

Я наносил визиты, вооружившись и собственными визитными карточками. Их изготовление обошлось мне очень дорого, но я думаю, что обязан своими первоначальными успехами в римском обществе в немалой степени именно этим карточкам. Рим в то время был настоящим раем для выпускников университетов и студентов, вне зависимости от средств, которыми они располагали. Если они были богаты, то это означало лишь одно – на академических собра-

ниях им не надо было столь усердно набивать свои животы многочисленными закусками, как студентам с более тощими кошельками.

Немецкий ученый триумвират в Вечном городе состоял из Людвиг Куртиуса, директора Археологического института, Эрнста Штайнмана, владельца и управляющего знаменитой на весь мир Библиотеки Герциана, и Пауля Кера, руководителя Прусского исторического института. Именно к ним я и обратился, приехав в Рим. Поскольку я учился у Онкена, Вёлфлина и Штриха, меня приняли более или менее всерьез. Все трое выслушали мои планы об изучении жизни Фарнезе и попытались направить мою энергию в различные русла. Куртиус убеждал меня заняться изучением археологических раскопок, которые проводил кардинал, и его коллекций, Штайнман – его живописным собранием, а Кер желал, чтобы я углубился в исследование документов, хранящихся в папских архивах.

Из этих троих ученых, представлявших в Риме немецкую науку, Пауль Кер, несомненно, был наиболее выдающимся по тому вкладу, который он в нее внес. Его институт был верен духу Моммзена; поэтому вовсе не удивительно, что в нем работал внук Моммзена, Теодор. Не считая периода Гогенштауфенов, мои познания по истории Средневековья сводились, к сожалению, к тому минимуму, который был необходим для сдачи экзаменов. Я намеревался написать книгу о Фарнезе, если не в стиле Эмиля Людвиг или Стефана Цвейга, то хотя бы в стиле фресок. Для этого я решил изучить обширную переписку кардинала с величайшими фигурами того времени, папами и кардиналами, учеными, художниками и членами своей семьи. Я хотел осветить ту роль, которую он играл на семи конклавах с точки зрения его личных амбиций и его личной трагедии. Мне это представлялось гораздо более интересным, чем штудирование письменных источников, – в этой области Пастор добился гораздо более значительных результатов, чем сумел бы добиться я.

Кер, по моему глубокому убеждению, считал все, что не было добыто усиленным и беспрестанным изучением источников, подозрительным по определению. Археолог Людвиг Куртиус был его полной противоположностью. Он не мог обойтись без слушателей, которых ослеплял своим блеском и которые подстегивали его своим восхищением. Лекции Кера были сухими, строгими и методичными, зато лекции Куртиуса напоминали яркий, красочный фейерверк. Когда он говорил об императоре Адриане и его вилле Албани, где хранились римские богатства эпохи барокко, недоступные для посещения широкой публикой, он превращался в Адриана. На ежегодном собрании в честь Винкельмана, отдавая должное этому Нестору археологии, он становился Винкельманом. Когда же он говорил о Гёте – а он много раз произносил блиставшие умом и огнем речи в его честь, – всем казалось, что это сам Гёте, приехавший в Рим. Он, как всякий великий актер, был наделен даром держать паузу, во время которой обводил глазами аудиторию, жадно ловившую каждое его слово. Не зря многие престарелые дамы, особенно из прусских дворянских семей, в конце 20-х и начале 30-х годов проводили в Риме всю зиму. Их сердца бились учащенно, а глаза сияли, когда они слушали этого эрудированного, блестящего ученого. Я ничего не могу сказать о его научных трудах, но и с ним у меня связано несколько незабываемых воспоминаний.

У Куртиуса была очень проницательная жена, отличавшаяся некоторым снобизмом. Я наладил с ней прекрасные отношения и всегда восхищался ее способностью, совершенно утраченной в наше время, составлять социальный коктейль из представителей интеллигенции и членов высшего света, которым она и ее муж так восхищались. Куртиусы жили в старинном палаццо в центре старого квартала, который автоматически придавал их приемам оттенок *je ne sais quoi* (я не знаю что). Приглашали ли тебя на встречу с русскими эмигрантами в Риме, где ты чувствовал себя перенесенным во времена Распутина и несчастных царя и царицы, или на концерт Фюртвенглера, – его сестра, бывшая замужем за философом Шелером, тоже работала в институте, – или же на вечер, где Карл Вольфскель, уже наполовину ослепший, и Эрнст Кан-

торович читали отрывки из своих произведений, ты мог быть уверен, что попадешь на социальный или культурный праздник.

Однажды мы с Канторовичем, немецким евреем, единственным из ученых, который сумел постичь природу столь необыкновенного явления, как Фридрих II, император из рода Гогенштауфенов, совершили путешествие к Неаполитанскому заливу. Его рассказ о Сивилле Кумской и ее пророчестве Энею представлял собой сочетание классического величия и современного интеллекта, которому позавидовал бы сам Вергилий.

В 1932 году я присутствовал на последней большой публичной лекции Куртиуса, которую он произнес в немецкой колонии по случаю юбилея Гёте и которая называлась «Гёте как явление». Мне хотелось бы привести здесь один отрывок из этой речи. Он не потерял своего значения и поныне, хотя лишь очень немногие – я конечно же не входил в их число – смогли в то время понять, какой трагический смысл в нем заложен.

«Поскольку наше национальное образование еще не завершено – ибо оно по-настоящему началось только с Гёте, – сама идея этого образования занимает такое важное место в нашем мире идей и в работах Гёте. Понять нас могут одни только русские. Другие народы все глубже зарываются в то, что они уже имеют, мы же стараемся погрузиться в то, чего не имеем. Эти народы пытаются сформулировать то, что их объединяет, мы же не жалеем сил, чтобы постичь то, что нас разделяет. Это и есть главная причина всех наших современных национальных несчастий».

Третий член немецкого академического триумвиата в Риме, Эрнст Штайнман, был типичным представителем старшего поколения. Для любого знатока Рима он до самой своей смерти в 1935 году оставался неотъемлемой частью Вечного города, но не потому, что был великим ученым, а потому, что его любовь к Риму не имела равных. Он любил искусство и художников императорской и папской метрополии не умом, который скромно охранял границы его гения, а, скорее, своей немецкой душой романтика. Это был типичный представитель кайзеровской эпохи, с ее традициями царственного и покровительственного отношения к женщине. При дворе кайзера Вильгельма II он с наслаждением слушал Rosenlider принца Эйленбурга, а в Риме до глубины души был предан Микеланджело, который, откровенно говоря, был ему не по зубам. Штайнман жил в палаццо Цуккари, которое купили ему две его покровительницы, неразлучные подруги Генриетта Герц и Фрида Норд, жена известного немецкого химика, переселившегося в Англию. Генриетта Герц ценой больших затрат сумела восстановить дом художника-маньериста Цуккари, который жил в начале века, и приспособить его под хранилище своей великолепной коллекции итальянского искусства и своего обширного собрания книг по истории искусства. Оно стало основой знаменитой Библиотеки Герциана, расположенной на пересечении двух знаменитых улиц – Виа Систина и Виа Грегориана, где в XIX веке жило много художников и писателей из Северной Европы и где Габриеле Д'Аннунцио имел роскошную квартиру, в которой он написал *Il Piacere* («Удовольствие»), не превзойденный никем портрет римских нравов 80-х и 90-х годов XIX века.

Штайнману было далеко до Д'Аннунцио, но он тоже любил удовольствия – хотя и в более мягкой, менее сладострастной форме, чем *il Divino* (Божественный). Перед тем как он окончательно поселился в палаццо Цуккари, немецкое правительство выделило ему деньги на завершение капитального труда о Сикстинской капелле, теперь уже слегка устаревшего, но тем не менее вполне приличного исследования произведений Микеланджело. После этого он начал собирать свою знаменитую на весь мир коллекцию книг, посвященных флорентийским художникам, которую позже завещал, насколько я помню, Ватикану.

Его салоны, украшенные маньеристскими фресками, посещались представителями старого аристократического римского общества из окружения князя Бюлова и его тещи, донны Лауры Миньетти. Штайнман был близким другом бывшего канцлера. Я вспоминаю, как Бюлов устраивал приемы. Он стоял рядом со своей глухой полупарализованной женой, когда-то одной

из самых почитаемых женщин в Берлине, и, следуя примеру Сен-Симона, рассыпал направо и налево цитаты из классиков и отпускал ядовитые замечания по адресу друзей и врагов. Другой достопримечательностью приемов, устраивавшихся в Герциане, которую особенно ценили женщины, был самый красивый священник современного Рима, баварский принц и внук императора Франца-Иосифа. После печально знаменитого своей краткостью брака с эрцгерцогиней принц Георг вспомнил, что дом Виттельсбахов с незапамятных времен занимал достойное место в иерархии святого Петра. Это был завидный пост, который не только не требовал никаких затрат, но и позволял тому, кто его занимал, вести жизнь аббата эпохи Винкельмана. Принц, отличавшийся необыкновенной красотой, был очень похож на своего деда по материнской линии в ту пору, когда тот еще не напоминал Всемогущего Бога с бачками, а был порывистым молодым Францлем. Принцу очень шла сутана с маленьким лиловым стоячим воротничком. Он принимал всеобщее восхищение как должное и совсем не платонически наслаждался библиотечными фуршетам, где подавали блюда итальянской кухни. Красивый как бог и к тому же посвятивший себя Богу, он любил окружать себя женщинами главным образом англосаксонского происхождения. Они далеко уступали ему по красоте, но в ту пору церковь не обращала внимания на внешность. С принцем любил поболтать, в своей слегка насмешливой манере, профессор Ногара, главный директор всех папских музеев и художественных коллекций, еще один дилетант, обожавший Микеланджело.

Эрнст Штайнман проникся ко мне расположением с самого же первого моего визита, то ли потому, что я был похож на одного из рабов, которых Микеланджело изобразил на потолке Сикстинской капеллы, то ли потому, что я знал много историй о Германии, напоминавших ему о его друге Бюлове. Он не только воспринял меня всерьез, но и, в отличие от Кера, сделал все, чтобы я поскорее приступил к исследованию жизни кардинала Фарнезе, великого покровителя искусств. Шудт, настоящий мозг Библиотеки Герциана и серьезный ученый, для которого участие в светских приемах и вечерах было равносильно посещению зубного врача, позволил мне познакомиться со всеми сокровищами этого хранилища, связанными с предметом моего исследования. Мне было разрешено пользоваться первыми изданиями стихов Микеланджело и описаниями II Terrible (Ужасного), оставленными его современниками, среди которых одни были чисто эротического характера, а другие по-настоящему поучительны.

Несколько месяцев я делил свое время между серьезными исследованиями и удовольствиями. Эти месяцы были относительно успешными для меня, но успех в Риме имеет короткую жизнь, и я убежден, что та ненависть, которую итальянцы до сих пор питают к Муссолини, проистекает главным образом из того, что он слишком долго наслаждался успехом. Хотя я и не был Муссолини, но некоторое время был весьма популярен в обществе. Когда же запас анекдотов иссяк, моя звезда закатилась, и я вынужден был искать новые пути к успеху. Я вовремя вспомнил, что мой кардинал был большим другом и покровителем иезуитов и что у меня есть рекомендательное письмо к ведущему историку этого ордена, отцу Такки-Вентури. Я также вспомнил, что автор этого письма сообщил мне таинственным шепотом, что, как духовник Муссолини, Такки-Вентури был серым кардиналом иезуитов.

Впрочем, это меня мало интересовало. Со времени моего прибытия в Италию я видел много черных рубашек и стал свидетелем нескольких шумных парадов, однако самого Муссолини еще не видел. Немецкие и международные академии, которые столь гостеприимно распахнули передо мной свои двери, вели себя так, словно его вообще не существовало. Он никого не раздражал, и все в свою очередь старались не раздражать его. Кроме того, я хотел просить у отца Такки-Вентури не аудиенции у Муссолини в палаццо Венеция, а разрешения поработать в архивах и библиотеках Ватикана – и получил его.

Духовник Муссолини жил в центре Рима в роскошном здании в стиле барокко около Гезу, церкви, отданной иезуитам кардиналом Фарнезе. Виньола начал строить ее в 1568 году. Пройдя через окруженный старыми деревьями монастырский сад, обьятый тишиной, которую

нарушал лишь тихий плеск фонтана, я был введен в столь же уединенный кабинет. Навстречу мне из-за стола, заваленного документами и пергаментными книгами, поднялся лысый священник. Мое рекомендательное письмо лежало перед ним. Он свободно говорил по-немецки, и я вскоре был втянут в разговор о своей родине. Один из первых вопросов звучал так:

– Знаете ли вы синьора 'Итлера?

Я сначала даже не понял, о ком идет речь, но когда понял, то заявил, что знаю. Он стал расспрашивать меня, и я сумел предоставить ему информацию, полученную из вторых рук – от генерала фон Лоссова. Такки-Вентури даже кое-что записал, тихо приговаривая при этом «molto interessante».² Мы продолжали беседовать о синьоре 'Итлере, пока я не рассказал ему все, что знал.

После этого он дернул старомодный шнур звонка, и в комнате появился почтительный молодой священник. Продиктовав ему два письма, которые тот записал на бумаге компании ди Гезу, отец Такки-Вентури протянул их мне. Они были адресованы префекту секретных архивов Ватикана и префекту библиотеки Ватикана – оба они носили фамилию Меркати. Отец объяснил мне, что люди, занимавшие эти важные посты, родные братья. Когда я уходил, он вручил мне толстый том истории ордена иезуитов, написанной им самим, и пригласил навестить его еще раз. Поклонившись, я вышел и решил взглянуть на церковь – церковь моего кардинала, а также на часовню, посвященную святому Игнатию Лойоле, основателю ордена. Однако четыре колонны из лазурита, украшавшие часовню, и огромное изображение Игнатия, выполненное, очевидно, из серебра, никоим образом не соответствовали моим представлениям об аскетизме, который должен быть присущ святым. Тем не менее на меня произвело огромное впечатление то, что последователи Игнатия сделали из этого места, и еще я понял, почему мой кардинал испытывал такой большой интерес к обществу Иисуса.

На следующий день, после славной утренней прогулки вдоль боковой и задней стен собора Святого Петра, во время которой я осмотрел дворы Браманте и покрытые фресками галереи, я вручил оба письма, данные мне Такки-Вентури. Дважды меня оценивали пристальным взглядом и дважды удостоили холодным рукопожатием. После этого мне выдали два читательских билета, проштампованные лично папой, и я получил доступ в обширные читальные залы. Они были забиты священниками всех возрастов, которые были облачены в сутаны всех цветов. Все они писали не поднимая головы. Отметив свой приход в храм знаний, я принялся просматривать раздел «Фарнезе» в огромном каталожном ящике. Сердце мое упало. Мне придется провести здесь остаток жизни, и, хотя мое утреннее путешествие к древу познания было очень приятным, я понял, что процесс сбора его плодов – исключительно изнурительное занятие.

Я в отчаянии перебирал карточки, как вдруг моего плеча легко коснулась чья-то рука. Позади меня стоял молодой, облаченный в черное священник, похожий на переодетого Зигфрида, – это был стройный голубоглазый блондин, способный сразу же привлечь к себе внимание любого кинопродюсера. Должно быть, я и сам выглядел истинным немцем, поскольку он улыбнулся ободряюще и предложил свою помощь. Он и вправду очень помог мне, и мы стали настоящими друзьями. Он жил с другими священниками, большинство из которых были столь же молоды, как и он сам, в Кампосанто-Тевтонико, или Немецком кладбище, располагавшемся позади колоннады на площади Святого Петра. На территории этого кладбища, где нашли упокоение знаменитые немцы, умершие в Риме, располагалась семинария, в которой молодые немецкие священники занимались изучением истории и теологии, одни – независимо, другие – в сотрудничестве с Прусским историческим институтом. Кампосанто совсем не походило на монастырь или место, где живут аскеты. Раз или два в год веселая толпа немецких ученых, молодых и старых, собиралась на террасах семинарии, откуда открывался великолеп-

² «Очень интересно» (ит.).

ный вид на купол собора Святого Петра. Из Германии доставлялась бочка баварского пива, к огромной радости итальянских гостей, и все – начиная от Куртиуса и его сотрудников и кончая джентльменами из Библиотеки Герциана и Прусского института – отдавали ему должное. Ближе к полуночи, когда над Святым Петром сияла римская луна, голоса сливались в песне – скорее непристойной, чем благочестивой. Близкое соседство со спящим папой придавало всему происходящему особую пикантность. На следующее утро высокопоставленные старые монсеньоры, доживавшие остаток своих дней в прилегающем к зданию семинарии палаццо, неизменно являлись с жалобами и обвиняли семинаристов в святотатстве. Они считали, что эти ночные пирушки устраиваются по наущению дьявола и потому должны были быть прокляты. Но, поскольку его королевское высочество монсеньор принц Георг являлся покровителем этих празднеств – исключительно потому, что там можно было отведать хорошего баварского пива, ветчины и сосисок, – дьявол всегда одерживал верх.

Молодые студенты из других европейских стран и Америки столь же регулярно приглашали друг друга на свои пирушки. Все крупные страны и ряд мелких владели зданиями различной степени изящества, расположенными главным образом на Валле-Джулия, лощине, тянувшейся у подножия Монте-Пинчио.

Чего я не знал в то время и разведать только в 1945 году, так это того, что все студенты Английской академии на Валле-Джулия были добровольными сотрудниками по праву прославленной английской разведывательной службы. Они работали на нее без никакого вознаграждения, а только из сознания того, что служат своей стране. Когда мне самому пришлось заняться разведывательной деятельностью, я понял, что такой подход нравится мне гораздо больше, чем более поздние подходы сходного, но гораздо менее беспечного характера.

Самый грандиозный праздник для учащейся молодежи устраивали французы в своем посольстве на Квиринале. Оно располагалось в палаццо Фарнезе, строительство которого началось при дедушке моего кардинала и закончилось при его внуке. Поскольку в Риме все знали, что я занимаюсь Александром Фарнезе, моя роль заключалась в том, что я на всех вечеринках развлекал публику историями из бурной жизни этого величайшего римского покровителя искусств своего времени. Рассказывая эти истории в украшенных фресками и гобеленами комнатах палаццо Фарнезе, я понимал, что своим успехом у слушателей в значительной степени обязан своему герою.

Но когда я поздно ночью стоял перед творениями Микеланджело и других великих архитекторов, мое самомнение улетучивалось и мне начинало казаться, что пора на время распрощаться с Вечным городом. В конце концов, в других областях Италии тоже было много мест, связанных с жизнью моего кардинала и представителей его рода. Его брат Оттавио был герцогом Пармы и Пьяченцы, так что тамошние архивы и библиотеки наверняка содержат богатейший материал для моей будущей книги. В добавление ко всему слово «Парма» напоминало мне о фиалках, а роман Стендаля «Пармская обитель» был одним из моих любимейших произведений. К тому же было бы интересно проследить за судьбой Марии-Луизы, супруги Наполеона, которая так любила удовольствия. Поспешно выйдя замуж за герцога Пармского, она нашла в нем замену человеку, которого никогда не была достойна. Короче, у меня был хороший предлог для того, чтобы отправиться в путешествие и сменить веселую и беспорядочную жизнь в столице на провинциальный покой Северной Италии.

Я никогда не жалел, что провел здесь шесть месяцев. Правда, рассказы о фиалках оказались самым настоящим обманом – нигде мне не встречалось меньше фиалок, чем в Парме, а запах, исходивший от тех немногих, что мне удалось найти, можно назвать лишь жалким. То же самое случилось и с Торре-Фарнезе, башней, в которой томился в заточении Фабрицио дель Донго. Она существовала только в воображении автора, хотя дворец герцогини Сан-северины и много других очаровательных мест из бессмертного романа Стендаля существуют на самом деле. Я с удовольствием сосредоточился на проделках Фабрицио и его любовных похождениях

– пока не обнаружил Марию-Луизу, после чего мгновенно позабыл о фиалках, Торре-Фарнезе и картезианском монастыре в Парме.

Конечно, я говорю не о безмозглой супруге Наполеона, которая начиная с 1816 года управляла своим прекрасным маленьким герцогством довольно сносно – с мягкой чувственностью и с помощью одного или двоих мужчин. Нет, в отличие от Марии-Луизы, сидящей с величественным и скучающим видом на постаменте в Парме, моя Мария-Луиза была полна жизни. Она работала библиотекарем в Управлении общественных записей и получила задание ввести меня в мир архивных тайн на подвластной ей территории. У нее не было ни глупых голубых глаз, ни белоснежной кожи, ни фамильной губы Габсбургов, принадлежавших эрцгерцогине. Кожа ее была такой смуглой, о какой можно было только мечтать, а бархатные миндалевидные глаза опьяняли, как и полагается в романтической истории Северо-Итальянского герцогства. Она меня многому научила. Например, я до сих пор хорошо помню Парму: обширный дворец Фарнезе, Пилотту с ее тремя дворами и художественной галереей, в которой хранятся знаменитые картины Корреджо, родившегося недалеко отсюда; ну и конечно же не менее знаменитый театр Фарнезе. Этот театр, построенный в 1620 году учеником Палладио, является самым крупным театром в мире, ибо вмещает 4500 человек.

Мария-Луиза знала каждую древнюю улицу и дворец. Она свозила меня в летнюю резиденцию Фарнезе – Колорно, тихие сады которого, разбитые в стиле рококо, романтические, тронутые временем фонтаны и классические храмы любви прекрасно соответствовали нашему настроению юного очарования. Она также познакомила меня – и это была единственная сфера интересов, которую Мария-Луиза полностью разделяла со своей вечно голодной тезкой, – с кулинарными изысками Эмилии, провинции, в состав которой входит Парма. Я буду вечно благодарен ей за это. Никогда раньше не едал я такой нежнейшей ветчины, как в Парме, никогда не пробовал более вкусной спаржи, чем *asparagie alla parmigiana*,³ прославившейся на всю Италию, нигде не видел более изысканного сыра, чем благоухающий золотисто-желтый пармезан, никогда не наслаждался *piatto bollito*, блюдом, состоящим из нежных цампони, или свиных ножек, тушеных с говядиной и разнообразными колбасами. Это блюдо можно резать без ножа – одной только вилкой, как это делали при дворе его апостольского величества в Вене. Изысканный обед в скромных трагториях, глядевшихся в небольшую речку Парму, увенчивался белым альбано или сухим игристым ламбуско, которые благоухали плодородной почвой Эмилии, и все это освещалось присутствием Марии-Луизы, так разительно отличавшейся от образа итальянских женщин, созданного воображением немецких академиков, романтиков и классиков, а дружба с ней была совсем не похожа на картины итальянских любовных приключений, описанных в их книгах.

Я никогда до конца не верил рассказам немецких поэтов и ученых об их романах с иностранками, и мои отношения с Марией-Луизой только укрепили это недоверие. Существа, наполняющие их аркадские идиллии, – южные красавицы со жгучим взглядом, глупые, как овцы Кампаньи, сентиментальные дамы, чьи интересы ограничивались одними безделушками и дешевыми украшениями, наивные девицы, не задумывающиеся еще о замужестве и детях, – существовали только в их воображении. Мария-Луиза избавила меня от иллюзий, навеянных немецкой литературой. И это был очень приятный процесс.

Шесть месяцев пролетели очень быстро, и, несмотря на все мои усилия, ничто больше не оправдывало моего присутствия в Парме. Мария-Луиза подарила мне на прощание небольшую книгу, подписанную ее рукою, которая была посвящена главным образом личной жизни ее тезки, исключительно веселой жизни. Историческая Мария-Луиза в руках генерала Нейперга вновь открыла для себя те радости, которыми столь щедро награждал ее Наполеон, мгновенно забытый ею. Она пережила смерть своего любовника, ставшего потом ее мужем, с такой же

³ Пармская спаржа (*ит.*).

легкостью, как и смерть Наполеона. Через несколько лет после его кончины она вышла замуж за графа де Бомбелле, еще одного француза с бурным прошлым, которому, однако, не удалось стать императором французов. Их брак, как пишет Мария-Луиза, был весьма спокойным. Стареющая герцогиня Пармская делила теперь свое время между вышиванием и походами в церковь. Она сохранила только свою любовь к музыке, ради которой построила в собственной резиденции очаровательный оперный театр в стиле позднего ампира. Этот театр так потряс Джузеппе Верди, что он посвятил одну из своих ранних опер герцогине.

Вооруженный этой книгой, я отправился из Пармы прямо в Неаполь, куда в 1734 году, в результате сложных и утомительных интриг, были перевезены художественные сокровища и документы семьи Фарнезе. В ту пору семейство Фарнезе стало уже не столь плодовитым, как связанные с ним родственными узами испанские Бурбоны. С кем бы я ни обсуждал в Риме свои планы, все в один голос утверждали, что мой кардинал похоронен в Неаполе, а его литературное наследство лежит, нетронутое, где-нибудь в городских архивах, которые прославились на всю Италию царящими в них беспорядком и неразберихой.

Узнав детали ритуала, которые следует соблюдать в Неаполе, я понял, что первое, что должен сделать иностранный студент, желающий достичь нужных ему результатов, – это нанести визит городскому некоронованному духовному королю Бенедетто Кроче, знаменитому на весь мир философу, критику, историку и ученому. Фосслер в Мюнхене дал мне рекомендательное письмо для своего друга, с которым поддерживал оживленную переписку. Учитывая мои скудные знания по философии, он выразил надежду, что величайший из живущих философов Италии не станет втягивать меня в дискуссию, а Мария-Луиза настоятельно советовала не упоминать имени Муссолини и не говорить о фашистах, идеи которых Кроче бескомпромиссно отвергал. Тот факт, что Кроче никто не тронул, свидетельствует о великодушии и гуманности итальянского диктатора – эти качества выгодно отличали его от других диктаторов эпохи. Кроче вел уединенный образ жизни, окруженный учениками обоюбого пола. Его книги тем не менее продолжали выходить в свет, а *La Critica* («Критика»), которая оказала огромное влияние на интеллектуальную жизнь его страны, регулярно переиздавалась, словно отношения между фашистским режимом и сердитым философом были самыми наилучшими.

Кроче жил в старой части города на одной из тех барочных неаполитанских улиц, которых нет больше нигде в мире и которых иностранцы – слава богу! – старались избегать. Именно здесь я впервые познакомился с запахом, который с тех пор навечно связался у меня с Неаполем. Этот дух, в котором смешались запахи морского воздуха и рыбы, цветущих апельсинов и чеснока, исходил от загорелых тел неаполитанцев, порождая неподражаемую ауру чувственности, которая одновременно отталкивала и возбуждала. Жилище Кроче представляло собой обширное мрачное здание с дворами, заполненными чумазыми ребятишками и пытающимися утихомирить их мамами. Дверь открыла престарелая горничная, которая оглядела меня с нескрываемым подозрением и оставила ждать в проходе, заставленном книжными шкафами, прежде чем впустить в кабинет великого философа. Моим первым впечатлением было разочарование. У Кроче не было ни французской элегантности моего старого учителя Онкена, ни швейцарской мужественности Вёлфлина, ни словно вытесанного из дуба благородства его друга Фосслера. Из-за горы книг навстречу мне вышел невысокий толстяк с лицом мелкого клерка и небольшими усиками, украшавшими его верхнюю губу. В первую очередь мне бросились в глаза книги. Они стояли вдоль стен, были разбросаны по полу и лежали стопками на зеленых плюшевых креслах, превращая комнату в настоящий рай для книжных червей. Кроче с сердечной улыбкой пожал мне руку и велел отыскать себе местечко, чтобы сесть. В соседней комнате стучала пишущая машинка, сквозь ее шум я услышал гул приближающихся голосов. Они принадлежали ученикам Кроче, группе молодых мужчин и женщин, лишенных всякого изящества. Их довольно неопрятное белье и очки в тяжелой роговой оправе компенсировали умные взгляды и раскованные манеры, производившие очень приятное впечатление. Они сразу

же приняли меня за своего. Разговор зашел о немецких университетах и об их преподавателях, в частности о Фосслере, которым Кроче очень восхищался. Один из учеников подвел меня к полке, на которой стояли книги хозяина дома – том за томом, включая работы по истории Неаполитанского королевства и периоде барокко в Италии, его знаменитую «Логику», трактаты о Гегеле и Г.Б. Вико. Рядом длинными рядами стояли связанные тома «Критики». Таков был результат трудов этого маленького, невзрачного на вид человечка. В то время, то есть в начале 30-х годов, Кроче было около шестидесяти пяти лет, но он выглядел нестареющим.

Наконец они забыли обо мне и устроили жаркий философский диспут. Они говорили на неаполитанском диалекте, и мне было бы трудно участвовать в нем, поскольку мое знание итальянского, которым я в значительной степени обязан был суровой критике Марии-Луизы, оказалось явно недостаточным для понимания их речей.

В самый разгар дискуссии в комнату вошла мрачная старая горничная с подносом, заставленным маленькими кофейными чашечками. Я быстро убедился, что фарфор был великолепен, а эспрессо – поистине божественным. Горничная приходила несколько раз и приносила новые чашечки с кофе. Мы сидели на книгах, подушках и коробках у ног философа. Эта картина вовсе не походила на беседу Сократа с его юными учениками, но произвела на меня ничуть не меньшее впечатление.

Шли часы, пока, наконец, около десяти часов – а я пришел в шесть – гости не начали расходиться. Позже я узнал от мужчин, что девушкам надо было идти на ужин, для которого десять часов считалось в Неаполе самым подходящим временем. Кроче попросил меня передать привет Фосслеру и сказал, чтобы я через два дня нанес визит графу Филаньери в Гранд-архиве. Чтобы получить разрешение работать в нем, достаточно будет упомянуть его имя.

Два дня спустя я снова оказался в старом квартале, в этой путанице очаровательных улочек с мириадами запахов – на этот раз я искал Гранд-архив. Расположен он был в очень романтическом месте – здании бывшего монастыря бенедиктинцев – и оказался самым настоящим лабиринтом комнат, галерей и дворов. В нем тоже пахло чем-то совершенно невообразимым – не только старыми книгами и документами, – а шум на окружающих его узких улицах просто оглушал.

От самого графа Филаньери исходил запах одеколона, а пальцы его были тщательно намазаны парфюмом. Он походил на испанского наместника в Неаполе. Граф принадлежал к одной из самых знатных семей города, а улица, на которой стоял дворец его предков, носила имя человека, который подарил Неаполю целый музей, огромную картинную галерею, дорогой фарфор Каподимонтской фабрики и ценную библиотеку.

Граф, которому один из учеников Кроче сообщил о том, что мне нужно, провел меня через потрясающее множество комнат и дворов в подземные подвалы, заваленные покрытыми пылью связками документов, которые выглядели так, словно их веками не касалась рука исследователя. Он отдал в мое распоряжение все: сами бумаги, пыль веков и старого помощника, одетого в нечто похожее на ливрею, который тащился за нами. Дон Гаэтано – как с гордостью представился он – напоминал незаконнорожденного отпрыска Бурбонов. Граф велел ему во всем помогать мне во время моей работы в архиве. Гаэтано вел себя так, как будто он выполняет все мои просьбы, – на самом деле это я делал то, что хотелось ему. Это была мягкая, но безошибочная форма тирании. Каждое утро я приносил ему огромный ломоть хлеба, на котором лежали помидоры с чесноком или луком. Он с печальным видом смотрел на меня и с помощью одного из типично латинских жестов, которые я за время нашего знакомства научился понимать в совершенстве, показывал мне, что ему нечем запить это угощение. Проблема решалась очень просто – я давал ему деньги на вино, и дон Гаэтано исчезал. Спустя весьма продолжительное время он возвращался, заметно приободрившись и подкрепившись, в сопровождении двух своих юных любимцев. На моем столе появлялись документы, в которых была записана многовековая история семейства Фарнезе. Когда в XVII веке архив этой семьи

перевозили из Пармы в Неаполь, бумаги всех представителей этого рода – королей и императоров, пап и кардиналов, герцогов и герцогинь – сложили вперемешку друг с другом и обвязали веревками. И вот теперь они лежали передо мной, ожидая вскрытия. Для любого архивиста это было бы бесценным сокровищем, в котором его ожидали многочисленные находки, и я сожалел лишь об одном – что меня не научили работать с архивами. Более того, дон Гаэтано не разрезал веревки, а, не обращая никакого внимания на мое нетерпение, с бесконечным спокойствием Бурбонов развязывал их. Я подозревал, что, поскольку эти веревки принадлежали когда-то Фарнезе и сумели безо всяких повреждений пережить несколько веков, он превращал их в один из своих многочисленных источников дополнительного дохода.

Наконец, ворча и крича, дон Гаэтано собирал веревки в огромную кучу и заявлял, что уходит по очень важному делу и приглашает меня в два часа пообедать с ним. Я не осмеливался отказаться, хотя прекрасно понимал, кто на самом деле кого приглашает.

Купив наконец себе время для исследовательской работы и отказавшись от удовольствия делать открытия, я принимался перебирать бумаги, большая часть которых были подлинниками. Час за часом, с горящими от возбуждения щеками, я просиживал, читая письмо за письмом, и передо мной раскрывалась великая карьера в великий век. Но в тот момент, когда мое возбуждение и чувство причастности к истории достигало кульминации, когда я наткнулся на письмо Микеланджело, на записку Карла V или на рисунок Виньолы, появлялся дон Гаэтано и все портил. Он хотел есть. Он знал множество превосходных, грязных, удивительно недорогих трагаторий в лабиринте улочек и переулков, окружавших архив. Он знал, где *baccala*, или сушеная треска, была самой свежей, где подавали самую нежную рыбу, где *mozzarella* – салернский сыр из молока буйволиц – был самым сочным. Он знал, в какие трагатории белое вино действительно привозят из Ишии, а красное вино – со склонов Везувия. А поскольку приглашал меня он, я не мог отказаться.

Мы съедали обильный, вкусный и дешевый обед, который развеял еще один миф, созданный немецкими профессорами, о том, что итальянская еда скудна и плоха. После того как мы насыщались, нам приносили счет. Мой спутник кидал на меня взгляд, затем поворачивался к хозяину таверны и небрежно приказывал, чтобы он записал эту сумму на счет его превосходительства графа Филаньери, гостями которого мы были. Но я не хотел обременять своего покровителя и, в свою очередь, требовал счет. Хозяин таверны, который давно уже разгадал хитрость моего спутника, начинал сомневаться, стоит ли брать у меня деньги – деньги чело-века, никак не тянувшего на звание «превосходительства». Я уверен, что именно таким способом придворные, фавориты и слуги неаполитанских Бурбонов улаживали свои финансовые проблемы, разве что в те дни их счета оплачивали англичане, приходившиеся друзьями леди Гамильтон. Я платил за обед деньгами, предоставленными мне Обществом кайзера Вильгельма для продолжения моего образования. Впрочем, никто – ни дон Гаэтано, ни хозяин таверны, ни его превосходительство, ни я – не возражал против этого. Суммы, которые я тратил в тавернах, были невелики, а это было такое приятное, неизменное и всякий раз новое представление. Будучи уверенным, что мой кардинал сделал бы то же самое, я платил из исторических соображений.

Впрочем, я обедал с доном Гаэтано не каждый день и всегда избегал ужинов с ним и его семьей, которая показалась мне похожей на многоголовую гидру. Мне хватило одного визита в его дом. Он жил в одной из тех ужасных неаполитанских квартир, которые располагались в подвальном помещении и назывались *bassi*. Его парализованная жена, многие годы прикованная к огромной железной кровати, обладала очарованием герцогини, но была облачена в засаленные одежды нищенки. В одном углу, перед репродукцией любимой по всей Италии «Мадонны Помпеи», стояла на коленях старая беззубая бабушка. Насколько мне позволяли мои скудные познания в неаполитанском диалекте, она молилась о том, чтобы после смерти Бог отправил ее в рай. Потом появилась красивая семейная пара. Женщина была похожа на

греческую богиню плодородия, что совершенно не удивило меня, поскольку в прошлом Неаполь имел тесные связи с Грецией. К ее белоснежной груди прильнул голый малыш, а за ее правую руку держались двое детей, примерно трех и пяти лет, которые вовсе не были похожи на классических младенцев с картин итальянских художников. При виде мужчины, стоявшего рядом с ней, учащенно забилося бы сердце любой американской миллионерши со Среднего Запада, любой английской гувернантки, готовой потратить все свои сбережения за одну ночь блаженства, и у одинокой королевы немецкой промышленности, которая, ни минуты не колеблясь, последовала бы за ним в этот подвал. Пеппино, как звали это божество, был любимым сыном дона Гаэтано. Жену Пеппино, или, лучше сказать, мать его детей, звали Мариеттой. Оба поздоровались со мной с той самоуверенностью, которой, в отличие от немецких ученых, обладает всякий, даже самый грязный, неаполитанский мальчишка, а Пеппино сразу же затеял со мной долгий разговор. Он говорил на смеси немецкого и английского и считал себя светским человеком. Его отец с гордостью объявил мне, что его сын – раджионьер, это непереваемое слово обозначает профессию, включающую в себя весь круг мужских обязанностей в области торговли. В настоящее время Пеппино служил раджионьером у герцогини, очень богатой, очень эксцентричной, и он заверил меня, что ему не составит труда добыть мне приглашение на один из ее ночных приемов, которые прославились на весь Неаполь.

Я вежливо отклонил этот необычный способ проникновения в ночную жизнь неаполитанской аристократии. Пеппино обиделся, и его обращение со мной стало заметно более холодным, но атмосфера сразу же разрядилась, как только на столе появилась огромная супница с дымящимся рыбным супом, который отдаленно напоминает французский буйабес.

Вечер прошел очень оживленно. Из задних комнат появилось еще несколько детей или внуков, а аромат, исходивший от многочисленных рыбных голов, хвостов и пряностей, плававших в супнице, словно Средиземноморский флот на смотре, отвлек бабушку от запаха восковых свечей, горевших перед «Мадонной Помпеи». Дон Гаэтано трогательно ухаживал за своей парализованной женой и, прежде чем выпить свой первый бокал ишийского вина, произнес в мою честь речь, в которой произвел меня в бароны и профессора. Когда подали эспрессо, я дал одному из мальчиков денег и велел ему купить пирог, называвшийся «Маргарита», в честь итальянской королевы-матери, и завоевавший, благодаря этому, всеобщее признание.

Наконец, после настойчивых предложений посидеть еще, от которых я отбивался целый час, мне удалось уйти. Пеппино королевским жестом протянул мне руку и заверил, что мы скоро встретимся снова. Вскоре я понял: он думал в тот момент о своей богатой и эксцентричной герцогине.

Вскоре он появился в Гранд-архиве и принес с собой надушенную карточку с черной каймой, приглашавшую меня на прием в городском особняке герцогини Розальба в ближайшую пятницу в полночь. Мне не оставалось ничего иного, как выразить свою благодарность и принять приглашение. Зная о тайной власти, которой обладали неаполитанские герцогини, особенно когда им служили такие раджионьеры, как Пеппино, я не осмелился отказаться во второй раз.

Палаццо, в котором я появился ровно в полночь в ту пятницу, было таким же большим, мрачным и унылым, как и дом Бенедетто Кроче. Вход в него украшали величественные бюсты двух римских императоров, а во дворе посетителей встречала огромная скульптурная лошадиная голова. Пеппино, ждавший меня у подножия взмывавшей ввысь лестницы, которая была выполнена в стиле барокко и вела в покои герцогини, прошептал, чтобы я ничему не удивлялся. Наверху меня приветствовал низким поклоном горбатый карлик. Он был с головы до ног одет в черный шелк и носил придворные туфли с пряжками. Интересно, куда я попал – на прием к герцогине или в цирк? Оба моих предположения были верными. Я беспомощно оглянулся по сторонам, ища взглядом Пеппино, но он исчез и не появлялся до самого моего ухода. Карлик провел меня через анфиладу полутемных комнат с расписанными потолками.

В углах посверкивали канделябры высотой в рост человека, уставленные толстыми свечами. Их мерцающий свет падал на ужасные сцены пыток, созданные воображением неаполитанских художников эпохи барокко. Свет постепенно становился все более ярким, пока я, наконец, не оказался в гостиной, стены которой были затянуты желтым шелком в стиле королевы Марии-Каролины Неаполитанской, дочери Марии-Терезии, чей портрет, во всем ее габсбургском величии, висел на стене. Остатки моей самоуверенности испарились без следа. Передо мной на чем-то, похожем на диван, сидела хозяйка дома, одетая как аббатиса эпохи Контрреформации, принадлежавшая к дворянскому сословию. У ее ног, глупо улыбаясь, съежились две уродливые, бесформенные карлицы. Комнатная собачка неизвестной мне породы, с серебристой шелковистой шерстью, принялась злобно лаять на меня. Мне показалось, что я сплю и все это мне снится. На черноволосой голове хозяйки возвышался, словно птица на насесте, белый, слегка подкрахмаленный апостольник, образуя вокруг ее длинной тонкой шеи что-то вроде испанского плоского воротника. Ее черный костюм представлял собой нечто среднее между вечерним парижским платьем и одеянием монахини, а единственным украшением была огромная черная жемчужина на ее левой руке. Молодой рот герцогини растянулся в дружеской улыбке. Это был одновременно красивый и нечеловеческий рот. Только позже, когда я узнал герцогиню получше, я понял, почему у нее был такой рот и что означал ее испанский маскарад.

Позади герцогини, безмолвно и неподвижно, стоял еще один Пеппино, который, однако, вряд ли пришелся бы по вкусу американской миллионерше или жене индустриального магната. Он охранял свою хозяйку, похожий на угрюмого пастуха буйволов в Кампанье, которого по какому-то капризу перенесли в гостиную. Его костюм безукоризненного покроя не мог скрыть мощного рельефа мышц, и я бы не хотел встретиться с ним темной ночью. У стен стояли молодые аристократы, несколько иностранцев, по внешнему виду – англичан, и два красочных монсеньора, костюмы которых идеально сочетались с одеянием аббатисы, сидевшей на диване. Герцогиня представила меня гостям, сделав широкий жест рукой; было тихо произнесено несколько имен, и я обменялся с приглашенными на вечер поклонами. Других женщин, кроме донны Розальбы и карлиц, в комнате не было, не видно было также ни закусок, ни вина. Я стал ждать, что будет дальше.

Гостиная медленно заполнялась. Появилось еще несколько господ, которые напоминали телохранителей испанского наместника, а также еще один монсеньор и небольшая группа армейских офицеров. Во всех случаях ритуал приветствия был один и тот же.

Я умирал от скуки. Никто не заговаривал со мной, да и другие гости обменялись от силы двумя-тремя словами. Это была оргия полнейшего безразличия, которая напоминала мне описание приемов при мадридском дворе – а Неаполь долго находился под властью испанцев.

Наконец появился карлик-церемониймейстер. Он поклонился донне Розальбе, которая милостиво поднялась и жестом велела гостям следовать за ней. Открылась большая двухстворчатая дверь, и мы оказались на пороге позолоченного зала, в котором, вероятно, проводились балы в ту пору, когда Мария-Каролина, в сопровождении своей фаворитки леди Гамильтон и лорда Нельсона, оказывала герцогине честь своим визитом. В задней части зала была установлена сцена с прекрасными старыми декорациями, превращая его в театр. После столь долгого стояния мы с наслаждением опустили в тяжелые барочные кресла. Карлицы исчезли, но я вскоре увидел их и других, похожих на них уродов на сцене. Один из монсеньоров оказался так добр, что взял на себя труд объяснить нам, что мы удостоились чести увидеть уникальный спектакль в исполнении карликов ее превосходительства герцогини.

В Риме правил Муссолини, в Германии человек по имени Гитлер собирался захватить власть, а здесь, в Неаполе, при свете свечей, перед аудиторией, подобранной по непонятно какому принципу, разворачивалось действие, изображавшее жизнь забытого мира. Пьесу играли горбатые, уродливые люди, которых обидела судьба, раздетые в красочные костюмы XVII века.

Это была пьеса со сложным, полным интриг сюжетом, из серии так называемых *Comedias de cara у espado*, или «Комедий плаща и шпаги», принадлежащих перу плодовитого драматурга Лопе де Вега. Карлики вполне могли исполнять ее для испанских королей, которые всегда находили удовольствие в гротескных движениях фигур этих несчастных созданий. Общее впечатление было как от картин Веласкеса, а костюмы, должно быть, были взяты из сокровищниц Прадо или Эскуриала. Донна Розальба восседала в своем черно-белом костюме, словно вдовствующая королева, мать одного из многочисленных испанских Филиппов.

Все представление с его встречами и расставаниями, ссорами и примирениями, вознагражденной в конце концов добродетелью и счастливым концом продолжалось ровно два часа. Оно окончилось в три часа утра, когда все зрители привыкли сладко спать в своей постели. Впрочем, артисты все равно будут спать весь день, священники и офицеры могут отложить выполнение своих обязанностей по отношению к Богу и королю, а англичане так хорошо выспались во время спектакля, что теперь были бодры и веселы. Дома я давно бы уже крепко спал, но здесь приходилось держаться, и я был очень рад, когда карлики вновь появились, неся на подносах крошечные чашечки с кофе, фиалковые конфеты и ликеры самых ярких цветов. Эти ликеры оказались такими ужасными на вкус, что англичане, привыкшие к джину и виски, не могли не скривиться.

Герцогиня, свежая как маргаритка, болтала со всеми по очереди. Она отдала в мое полное распоряжение архивы своей семьи и великодушно пригласила посетить ее будущие ночные представления. Я и вправду много раз приходил на вечера к донне Розальбе. У нее всегда был приготовлен сюрприз для гостей. Однажды нам показали старинные неаполитанские танцы, которые исполняла, вероятно, последняя труппа танцоров со склонов Везувия, а угрюмый пастух донны Розальбы с кошачьей грацией пантеры танцевал вместе с ними тарантеллу. Одна престарелая княгиня – а на этот раз на вечер были приглашены и женщины – шепотом просветила меня, какую роль на самом деле играет в жизни этот юноша. Она упомянула даму по имени донна Джулия, и до меня постепенно дошло, что она имеет в виду любимую дочь императора Августа. Пребывая в полной уверенности, что я хорошо знаю любовные похождения этой дамы, она украсила свой рассказ пикантными подробностями о пристрастии «второй донны Джулии» – нашей хозяйки – к тавернам моряков и другим заведениям, которые любят посещать неаполитанские пролетарии, но отнюдь не дамы высшего света. Во время одного из таких походов один ревнивый донжуан из народа порезал ей бритвой горло, желая, в соответствии с укоренившейся традицией, обезобразить ее навсегда. Докторам удалось спасти ей жизнь, но она уже больше никогда не сможет носить декольте. Но эта история тем не менее, прошептала старая дама, не заставила герцогиню прекратить свои ночные вылазки. Только теперь ее всегда сопровождает крепкий малый, принадлежащий к тому типу мужчин, который ей больше всего нравится.

Слушая рассказ княгини, я начал понимать, откуда у донны Розальбы такой рот. Историк во мне был восхищен этим примером возрождения имперского духа семьи Джулии. Наши отношения стали более тесными, хотя она и не догадывалась, что мне все известно, и качество подаваемого на ее вечерах спиртного, под моим руководством, значительно улучшилось.

Донна Розальба могла жить и умереть только в Неаполе. Она погибла, как и предсказывали ей звезды, под обломками бедной портовой таверны, которая была разрушена во время налета авиации союзников в годы Второй мировой войны. Вполне возможно, что роковую бомбу сбросил со своего самолета один из тех английских херувимчиков, которые пользовались ее гостеприимством, но все это произойдет в далеком будущем. А мое пребывание в Неаполе подходило к концу. Оно завершилось в конце весны 1934 года, и конец его был отмечен еще одной типичной для Неаполя встречей, значение которой я в то время еще не осознал.

Я устроил себе прощальный ужин в хорошо известной траттории синьора д'Анджело, знаменитого в прошлом исполнителя народных песен, который заслужил одобрение самого

Карузо. Его ресторан стоял на Вомеро, высоко над городом, и из его окон открывался прекрасный вид на голубое море и сверкающий берег острова Капри вдаль. Это было прекрасное зрелище, очень подходящее для прощания, но моему тихому наслаждению этим видом не суждено было продолжаться долго. За соседний столик уселась компания мужчин средних лет, поднявшая ужасный гвалт. Все пятеро были примерно одного и того же телосложения, иными словами, коротконогие и толстые – в них можно было безошибочно узнать неаполитанцев. За ними вошел шофер с огромными пакетами, которые были поспешно унесены услужливым синьором д'Анджело. Компания приветствовала всех присутствующих и получила в ответ уважительные поклоны.

Пожалев меня – ибо какой неаполитанец, привыкший всегда находиться в гуще людей, не пожалеет одинокого человека? – они пригласили меня за свой столик. Компания заказала огромные порции антипасты, за которыми последовали не менее впечатляющие блюда со спагетти и макаронами, лазаньей и каннелони. Потом, гордо поглаживая свои животы, они заявили, что все эти чудеса производятся на их фабриках – хозяин гостиницы подобострастно называл их королями спагетти. Они любили хорошо поесть, терпеть не могли англичан, но, к счастью для меня, обожали немцев. Мои слова о том, что я работал в Гранд-архиве, произвели на них огромное впечатление, а вот о Бенедетто Кроче они не слышали ничего. Я благоразумно воздержался от упоминания имени донны Розальбы, поскольку они наверняка кое-что знали о ее похождениях.

Наконец, поглотив несколько блюд рыбы, содержимое которых плавало в великолепных на вкус соусах, мы добрались до десерта, состоявшего из моцареллы с запахом свеженадоенного молока и эспresso, и они стали расспрашивать меня о моей жизни в Риме, поинтересовавшись, не встречался ли я с его превосходительством доном Артуро. Когда я ответил, что нет, их изумлению не было предела. Они о чем-то пошептались, и синьор д'Анджело был снова отправлен на кухню. Он принес высокую бутылку, полную золотистой жидкости. Это был, как мне сказали, «Стрега» из Беневенто, любимый напиток дона Артуро.

Я так и не понял, кто такой этот таинственный дон Артуро, но я знал, что Беневенто – это тихий, провинциальный городок в Кампанье, знаменитый своей величественной триумфальной аркой, построенной императором Траяном, а также тем, что рыцарственный Манфред, незаконный сын Фридриха II Гогенштауфена, потерял здесь свою жизнь и корону во время ожесточенной битвы с анжуйцами. Мои друзья провозгласили тост за меня и отсутствующего дона Артуро. Когда мы прощались, они спросили, где я живу, и аккуратно записали мой адрес. Они пообещали прислать мне рекомендательное письмо для дона Артуро и настоятельно советовали воспользоваться им, добавив: «Non si sa mai!»⁴ Я покинул королей спагетти, одновременно благодарный и заинтригованный.

На следующий день в мой маленький отель была доставлена большая коробка, полная спагетти, макарон и прочего подобного добра, а с ней – запечатанный конверт, на котором был написан адрес: «Его превосходительству дону Артуро Боккини, сенатору королевства, начальнику полиции».

Владелец отеля, где я жил, и весь его персонал, относившиеся ко мне до этого с холодной вежливостью, за ночь совсем преобразились – до такой степени, что я спокойно мог бы уехать, не заплатив по счету. Я внимательно прочитал адрес и улыбнулся. До этого я ни разу не сталкивался с полицией, не говоря уже о руководителях этого учреждения. Перед тем как уехать, я расспросил дону Гаэтано об авторах письма. Он пришел в восторг, увидев его, и сообщил мне, что они поставляют свою продукцию во все казармы и министерства Италии, а также на все военные корабли и во все тюрьмы, – и тогда я понял, почему они были в таких близких отношениях с доном Артуро. Вспомнив их девиз: «Non si sa mai!», я решил по возвращении

⁴ «Кто знает, как повернется жизнь!» (ит.)

в Рим передать ему это письмо. В любом случае его превосходительство, скорее всего, откажется принять меня.

Но я ошибся. Его превосходительство много раз принимал меня у себя. И если бы я мог судить только по нему одному, то мое отношение к полиции осталось бы благожелательным. К сожалению, в других странах были иные полицейские службы и другие руководители полиции, к которым я не испытывал никакой симпатии.

Глава 3

Контакты

В Риме хозяином положения был по-прежнему Муссолини. Его имперские амбиции сосредоточивались в ту пору на Абиссинской империи, и до 1936 года Италия не проявляла никакого стремления сблизиться с Третьим рейхом. Наоборот, в салонах и на улицах Рима все чаще и чаще стал появляться элегантный австрийский аристократ принц Штаремберг, облаченный в необычную форму, придуманную и сшитую для него ведущим венским портным, и в берет, украшенный изысканным тетеревиным пером. Он бегал по министерствам, а его умная мать, величественная женщина в черной мантилье и кружевной вуали, посещала все службы в Ватикане, большие и малые. Независимость была по-прежнему козырной картой Австрии, и канцлер Дольфус был дуче гораздо ближе, чем немецкий канцлер Гитлер.

Приход Гитлера к власти 30 января 1933 года вызвал в немецкой колонии в Риме и среди немцев, живущих в Италии, гораздо больший переполох, чем среди итальянцев. Спокойная жизнь для немецких институтов в Риме и молодых немецких студентов закончилась.

Куртиус все реже и реже раскрывал двери своих салонов, хотя он остался верен своим еврейским друзьям, к которым сохранил теплую, не омраченную ничем привязанность. Поклонник Микеланджело Штайнман предпочел общению с нацистами швейцарское гостеприимство. Мнения молодежи разделились. Многие из студентов с самого начала не скрывали своей неприязни, а лучше сказать, горячей ненависти к Гитлеру и его режиму. Главным среди них был Теодор Моммзен, внук историка, работавший в Прусском историческом институте. Я долго обсуждал с ним вопрос, как мне лучше поступить. Уже в 1933 году Моммзен принял твердое решение при первой же возможности эмигрировать в Америку. И хотя американцы вполне могли спутать внука с его знаменитым дедом, имя Теодора Моммзена было достаточно известно, чтобы обеспечить ему хорошее место в одном из многочисленных американских университетов. У меня же такого имени не было. Я был уверен, что там еще помнят старого императора Франца-Иосифа, – хотя, вполне возможно, что его начали забывать, – но имена Лоссова, Книллинга, Шренк-Нотцинга и других великих людей времен моей молодости не произведут никакого впечатления. Моммзен мягко заметил, что многие молодые люди начинали свою карьеру по другую сторону Атлантики в качестве посудомойщиков или барменов и заканчивали профессорами, но меня такая перспектива не прельщала.

Устав от бесконечных дискуссий с посетителями немецких институтов в Риме, с которыми я так весело и беззаботно проводил время до моей поездки в Парму и Неаполь, я обратил свои взоры на учреждение, чья главная задача заключалась в том, чтобы указать мне и многим другим немцам, жившим в Италии, цель и направить нас на верный путь, а именно на немецкое посольство, располагавшееся на Квиринале. Некоторое время его занимал бывший Государственный секретарь в правительстве Штреземана, господин фон Шуберт, чьи виноградники, росшие по берегам Рейна, производили гораздо более приятное впечатление, чем их владелец. После его отставки в доме на Квиринале поселились господин и госпожа фон Хассель. Как и его предшественник, новый посол был профессиональным дипломатом. Он выглядел великолепно и знал это. Римские дамы с удовольствием останавливали взгляд на его аристократической внешности, а он с неменьшим удовольствием отвечал на эти взгляды. Он любил читать лекции, посвященные политике, которые охотно посещались публикой и делали жизнь римского общества более насыщенной. Он относился к Муссолини и фашистам с холодным скептицизмом, но свои чувства по отношению к Адольфу Гитлеру и национал-социализму держал при себе.

Отношение посла к фашизму разделяла его жена, дочь адмирала фон Тирпица, который вместе с князем Бюловом был одним из самых опасных и агрессивных советников кайзера

Вильгельма II. Хотя фрау фон Хассель, вне всякого сомнения, была настоящей светской дамой, ей крупно не повезло – она заняла место фрау фон Шуберт, урожденной графини Харрах, которая была гранд-дамой до мозга костей. Фрау фон Хассель идеально подходила на роль жены прусского обер-президента, но Рим, к несчастью для нее, не был столицей Пруссии. Она даже не старалась скрыть свое отвращение и презрение к посетителям из Новой Германии, что конечно же никак не соответствовало представлению о том, какой должна быть настоящая жена дипломата.

Ее муж отличался гораздо большими дипломатическими способностями. Он умел с большим тактом поставить на место нацистов, обращавшихся в его посольство, забывая о том, – как выяснилось, это было весьма глупо с его стороны, – что в нацистской партии состояли не только пьяницы и мелкие буржуа. Но не это было главным. Самое важное, что он скоро начал приходить на приемы в форме оберфюрера NSKК (Национал-социалистического автомобильного корпуса). Он носил фуражку набекрень, и слова «Хайль Гитлер!» легко слетали с его губ, хотя тон, которым он их произносил, был слегка насмешлив. Когда однажды я спросил его, что должен теперь делать немец с академическим образованием, он с усталым видом пожал плечами и успокаивающе произнес: «Chacun a son gout».⁵

Мне вряд ли пригодился бы совет этого оракула, если бы не представился случай увидеть вскоре после этого его практическое воплощение. Однажды мы с друзьями сидели на главной площади небольшого, но прославленного своими виноградниками городка Фраскати, в который раз обсуждая наше положение, как вдруг мимо нас проехала открытая машина посла. В ней сидел господин фон Хассель, одетый в форму оберфюрера NSKК, а рядом с ним, облаченный в черное, восседал молодой генерал СС. Один из моих друзей узнал его и возбужденно прошептал нам, что это Гейдрих. Тогда еще это имя было мало кому известно, но, по крайней мере, мы узнали, кому посол демонстрировал красоты Фраскати. Посол и генерал были поглощены оживленной беседой. Так что и вправду каждый мог делать «все, что захочет».

После этого случая я раздумал мыть посуду в Америке. Я решил последовать примеру главного немца в Италии и подал заявление о приеме в партию. Я сделал это без особой радости, но и без тайной надежды улучшить за счет этого свое положение. Я не собирался становиться партийным работником, поскольку мог бы прожить и без партийного билета, а мое сотрудничество с кардиналом и его семьей не являлось подходящей рекомендацией. Но перед тем как вступить в партию, я решил нанести еще один визит отцу Такки-Вентури, используя в качестве предлога для этого исследование жизни Александра Фарнезе. Как человек, много сделавший для примирения фашизма и церкви, а также как один из инициаторов Латеранского договора 1929 года, он обладал всем необходимым опытом, чтобы посоветовать мне, как установить контакт с диктаторским режимом.

⁵ «Все, что захочет» (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.